

ЛАРА ВЕИН



Ключи ПЕТРА

МИСТИКА

18+

Лара Вейн

Ключи Петра

<https://litres.ru/74664203>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он вернулся. Но его больше никто не боится: на камерах его нет, а нейросеть уверенно объясняет, что его не существует. «Оракул» знает ответ на любой вопрос. Кроме одного: почему его не видят камеры? Высокий иностранец с тростью предсказывает смерть в прямом эфире, его кот снимает голову телеведущему, а граф Калиостро обещает миллионы. Город уверен, что это нейросеть. Ему так удобнее.

Содержание

Глава 1. Никогда не спорьте с оракулом	4
Глава 2. Меч Симона	29
Глава 3. Четыре минуты	52
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Ключи Петра

Глава 1. Никогда не спорьте с оракулом

В тот год весна пришла в Петербург не так, как приходит обычно, то есть не пришла вовсе, а свалилась на город сразу, целиком, будто кто-то наверху перепутал месяцы и открыл не ту дверь.

Было Вербное воскресенье, двадцать пятое апреля. Ещё утром по Неве, вздрагивая и поскрипывая, шёл ладожский лёд, тот самый, последний, грязно-белый, который каждую весну спускается из озера и которого петербуржцы ждут, как ждут уезжающего гостя: с облегчением и лёгкой тоской. Лёд шёл и днём. Шёл он и вечером, когда термометр на фасаде аптеки у Литейного моста показывал двадцать семь градусов тепла.

Двадцать семь градусов. В конце апреля. При ледоходе.

Город, однако, этого не заметил. Вернее, заметил, но не поверил. Все до единого приложения погоды, установленные в телефонах петербуржцев, сходились на одном: плюс одиннадцать, облачно, во второй половине дня небольшой дождь, ветер северо-западный, порывистый. Именно так город и оделся. Люди шли по Невскому в куртках и шарфах,

обливались потом, расстёгивались, снова застёгивались и раз за разом с недоумением заглядывали в экран, где маленькое серое облачко обещало им прохладу. Одна дама на Аничковом мосту, совершенно красная, в пуховике, остановилась и громко сказала спутнице:

— Нет, ну это влажность. Пишут же: одиннадцать.

И спутница, тоже в пуховике, согласилась, что это влажность.

Мы позволим себе отметить уже сейчас, в самом начале этой правдивой истории, что в ту неделю жители Петербурга вообще доверяли своей коже, своим глазам и своему здравому смыслу значительно меньше, чем маленьким светящимся прямоугольникам в карманах. Но было бы несправедливо обвинять в этом одних петербуржцев. Так жил тогда весь мир.

Впрочем, был в тот день в Петербурге по меньшей мере один человек, который доверял своим глазам. Ей было шесть лет, её звали Ульяна, и в половине пятого пополудни она стояла на Литейном мосту, держась одной рукой за чугунные перила, а другой за бабушкин рукав.

Бабушка смотрела в телефон. Бабушка всегда смотрела в телефон. Она переписывалась с маминой сестрой, тётей Олей, которая жила в Сочи и присылала фотографии моря. Бабушка отвечала ей фотографиями Невы. Затем они и вышли на мост: чтобы сфотографировать ледоход и послать в Сочи.

Ульяна смотрела на лёд.

Лёд шёл сверху, из-за поворота, от Смольного. Сначала мелкий, крошечком, серыми кусками, похожими на разбитые тарелки. Потом пошли большие льдины. Белые, толстые, с рваными краями, с синими трещинами внутри. Они наползали одна на другую, толкались, разворачивались, тёрлись о гранит набережной с глухим скрежетом, от которого у Ульяны чесались зубы. Под мостом они ударялись о быки, и мост слегка вздрагивал. Ульяна чувствовала это ладонью на перилах. Ей нравилось.

А потом из-за поворота выплыла льдина, не похожая на другие.

Она была огромной. Больше всех. Ровной, как стол. Белой, как скатерть. И совершенно неподвижной. Другие льдины кружились, сталкивались, трещали, а эта плыла спокойно, прямо, будто по рельсам, и мелкий лёд расступался перед ней, как расступаются люди перед большим начальником.

На льдине стояли люди.

Четверо. Нет, трое и кот.

Посередине, опираясь на трость, стоял высокий человек в сером костюме и в серой шляпе. Ульяна видела его со спины, потом сбоку, когда льдина начала медленно разворачиваться. Он смотрел на город. Не так, как смотрят туристы, вертя головой. Он смотрел спокойно, внимательно, долго, как смотрит хозяин на дом, в котором давно не был.

Рядом с ним стоял рыжий. В чёрном спортивном костюме

с белыми полосками. Он держал в руках чемодан. Обыкновенный, старый, коричневый, с ремнями. Рыжий зевал.

Чуть поодаль, у самого края льдины, сидела, свесив ноги к воде, девушка с очень белой кожей и очень рыжими волосами, в чём-то коротком и чёрном. Она болтала ногами над ледяной водой и, кажется, пела.

А на чемодане, который рыжий в конце концов поставил на лёд, сидел кот. Огромный. Чёрный. С усами, как у генерала. Кот держал в лапах бинокль и рассматривал в бинокль Литейный мост.

Ульяна дёрнула бабушку за рукав.

— Ба. Ба, смотри.

— Сейчас, Улечка, — сказала бабушка, не поднимая глаз.

— Сейчас. Тёте Оле отвечу.

— Ба, там люди на льдине.

— Где люди? — Бабушка, всё ещё глядя в экран, протянула руку с телефоном к реке и сделала снимок, не глядя. — Вот. Ледоход. Красиво. Сейчас отправим.

— Ба, там кот с биноклем!

Бабушка наконец подняла глаза. Посмотрела на реку. Ульяна видела, как бабушкин взгляд скользнул по льдинам. По огромной белой льдине. По людям на ней. И проскочил мимо. Будто их там не было.

— Где кот? — сказала бабушка. — Улечка, не выдумывай. Лёд. Вот лёд. Видишь?

Ульяна посмотрела на бабушку, потом на льдину.

Кот опустил бинокль и посмотрел прямо на неё. Через всю реку. Глаза у кота были жёлтыми. Он приподнял лапу и помахал. Ульяне. Как машут знакомым.

Ульяна помахала в ответ.

Высокий человек в сером обернулся. Посмотрел на кота. Потом проследил за его взглядом и посмотрел на мост. На Ульяну. Лицо у него было странное. Ульяна потом, много лет спустя, пыталась описать это лицо и не могла. Один глаз у него был живой и тёмный, и в нём будто горела маленькая искра. А другой был пустой. Не слепой. Пустой. Как окно в доме, где никто не живёт.

Ульяна не испугалась. Шестилетние не пугаются того, что видят. Они пугаются того, что им рассказывают.

Человек в сером посмотрел на неё долго. Потом медленно приподнял шляпу. Слегка. Вежливо. Как приподнимают шляпу перед дамой.

Ульяна сделала книксен. Её научили в садике, на утреннике.

— Ты чего кланяешься? — спросила бабушка.

— Он мне шляпу снял.

— Кто?

— Дядя на льдине.

Бабушка вздохнула. Посмотрела на внуку с тем выражением, с каким взрослые смотрят на детей, которые опять что-то придумали. Потом посмотрела в телефон. На фотографию, которую сделала не глядя. Приблизила её пальцами.

На фотографии был ледоход. Нева. Лдины. Серые, белые, синие. Огромная ровная льдина посередине реки. Пу-
стая.

— Видишь? — сказала бабушка. — Никого. Лёд. Пошли, Улечка, мама ждёт.

— Ба, но они же там!

— Ульяна. — Бабушка сказала это тем голосом, после которого спорить было нельзя. — Давай мы у телефона спросим. Хорошо? Он всё знает.

Она нажала кнопку и сказала в телефон, громко и отчётливо, как говорят глуховатым:

— «Оракул». Могут ли люди плавать на льдинах по Неве во время ледохода?

Телефон подумал секунду и ответил ровным, приятным женским голосом:

— Нахождение на льду во время ледохода смертельно опасно и запрещено правилами безопасности на водных объектах. Сообщений о людях на льдинах в акватории Невы на данный момент не поступало. Если вы видите человека на льдине, немедленно позвоните по номеру сто двенадцать. Могу я ещё чем-нибудь помочь?

— Вот, — сказала бабушка. — Не поступало. Пошли.

И потянула Ульяну за руку.

Ульяна шла по мосту, оглядываясь. Льдина проплывала под мостом. Ульяна перебежала на другую сторону, к другим перилам, вырвавшись из бабушкиной руки, и успела уви-

деть, как льдина выплывает из-под моста, белая, ровная, торжественная, и плывёт дальше, к Летнему саду, к Троицкому мосту, к Петропавловской крепости, к заливу.

Девушка с рыжими волосами на краю льдины подняла голову и помахала Ульяне. Кот помахал тоже. Рыжий в спортивном костюме сплюнул в воду. Высокий человек в сером не обернулся. Он смотрел вперёд. На золотой шпиль крепости. На ангела.

— Ульяна! — крикнула бабушка.

Ульяна побежала к ней.

Вечером, когда мама укладывала её спать, Ульяна рассказала ей про льдину, про кота с биноклем и про дядю, который снял шляпу. Мама слушала, улыбаясь, кивая, одним глазом в телефоне. Потом сказала: какая ты у меня фантазёрка. Давай нарисуешь завтра.

Ульяна нарисовала. Утром. Фломастерами. Синюю реку, белую льдину, на льдине трёх человечков и кота. Кот получился больше всех. Человечек в середине был в шляпе и с палкой. Один глаз у него Ульяна нарисовала чёрным фломастером, а другой оставила пустым. Просто кружок. Белый.

Мама сфотографировала рисунок и выложила в семейный чат. Тётя Оля из Сочи поставила сердечко. Бабушка написала: «Наша художница!» И смайлик.

Рисунок до сих пор висит на холодильнике. Ульяне теперь семь. Она никому больше не рассказывает про льдину. Ей всё равно не верят. Но иногда, когда по телевизору говорят

что-нибудь, чего не может быть, она подходит к холодильнику и смотрит на кружок. Белый. Пустой.

И знает, что видела.

Но вернёмся к вечеру того воскресенья.

В половине седьмого вечера, в час небывалого, плотного, почти июльского заката, когда солнце висело над Петропавловской крепостью и золотой ангел на шпиле собора горел так, что больно было смотреть, на гранитной скамье у решётки Летнего сада, со стороны Невы, сидели двое.

Первый из них был Аркадий Борисович Стрижёв, человек пятидесяти двух лет, плотный, загорелый круглый год, коротко стриженный, в льняной рубашке, которую он, единственный, кажется, в городе, надел сегодня по погоде, а не по прогнозу. Объяснялось это просто: Аркадий Борисович весь день провёл в машине с кондиционером и на улицу вышел только что. Стрижёв владел медиахолдингом «Невский поток», двумя телеканалами, тремя радиостанциями, десятком интернет-изданий и, что было предметом его особенной гордости, голосовым помощником «Оракул», который по его распоряжению встроили во всё, что только можно: в приложения холдинга, в городские киоски, в навигаторы такси, в программу «Утро Петербурга» и даже, по договору с одной сетью поликлиник, в окошко записи к врачу.

Устроен «Оракул» был так же, как все подобные машины того времени: в его основе лежала чужая большая нейросеть, купленная по лицензии, сверху на неё натянули ло-

готип в виде совы и голос актрисы, озвучивавшей когда-то мультфильмы. Отвечал «Оракул» на любой вопрос мгновенно, гладко, вежливо и с такой спокойной уверенностью, какой не бывает у живых людей, потому что живые люди хотя бы иногда сомневаются. Ошибался он при этом часто. Но об этом знали только те, кто проверял, а проверять к тому времени почти никто уже не привык.

Второй был Леонид Сорокин, двадцати семи лет, известный в сети как Лёня Сорока. Худой, вертлявый, с рыжеватой бородкой, в чёрной футболке с надписью «Я тут просто посмотреть», он вёл канал «Сорока на хвосте», на который было подписано триста двенадцать тысяч человек. Лёня делал всё: обзоры, розыгрыши, ночные прогулки по заброшкам, разговоры с интересными людьми. Сегодня как раз был разговор с интересным человеком. Перед скамейкой на маленьком штативе стоял телефон, в ухе у Лёни сидел крошечный наушник, в который бубнил чат, и шла прямая трансляция под названием «Стрижёв без купюр: зачем нам Бог, если есть нейросеть?».

Название придумал сам Лёня. Аркадий Борисович его одобрил.

— ...то есть давайте честно, — говорил Стрижёв, развываясь на скамье и щурясь на воду. — Что такое религия, если убрать благовония и золото? Это первая в истории поисковая система. У человека были вопросы: почему гром, почему умер ребёнок, что будет после смерти, как жить. И кто-

то давал ответы. Неважно, правильные или нет, важно, что давал. Люди шли в храм, как сейчас идут в поиск.

— Ну, допустим, — сказал Лёня, косясь в экран. — Чат спрашивает: а сейчас куда идут?

— Сейчас идут в «Оракул», — Стрижёв улыбнулся. — Я не рекламирую, это просто факт. Нам задают в день четыре миллиона вопросов. Ты знаешь, сколько из них про смысл жизни? Я смотрел статистику. Больше, чем про рецепты. Люди спрашивают у машины, бросать ли мужа, верить ли в Бога, простить ли мать. И получают ответ. Спокойный, взвешенный, без осуждения. Скажи мне, какой священник так может?

— Жёстко, — восхитился Лёня и прочёл с экрана: — «Ага, а потом он тебе рецепт борща с гвоздями выдаст». Это Кот_Учёный пишет.

— Бывает, — легко согласился Стрижёв. — Ошибки бывают, мы их правим. Но ты пойми главное. Человек полностью предсказуем. Полностью. Это не моя фантазия, это математика. Машина знает, что ты купишь в пятницу, когда тебе захочется спать и чего ты боишься. Она знает тебя лучше, чем мама. А раз так, то где здесь место Богу? Где место чуду? Чудо — это просто событие, которое ещё не посчитали.

— А дьявол? — спросил Лёня, которому чат подсказывал вопросы быстрее, чем он успевал их читать.

— А дьявол — это вообще маркетинговый персонаж. Средневековый. Его придумали, чтобы продавать индуль-

генции. Страшилка для неграмотных крестьян. Сегодня его никто всерьёз...

Тут Аркадий Борисович осёкся, потому что к скамейке подошли.

Подошли двое, но сначала, как утверждал потом Лёня, он увидел только одного.

Это был высокий человек неопределённого возраста. Ему могло быть сорок пять, а могло быть и семьдесят, и Лёня, который впоследствии много раз пытался описать его следователям, врачам и подписчикам, каждый раз называл новую цифру. Одет он был в тёмно-серый костюм прекрасного, давно уже не встречающегося покроя, при галстуке, и это при двадцати семи градусах. Пота на нём не было ни капли. В руке он держал трость чёрного дерева, набалдашник которой, серебряный, потемневший, был выточен в форме старинного ключа с затейливой бородкой. Лицо у незнакомца было смуглое, худое, с глубокими складками у рта, а глаза... Вот о глазах Лёня потом говорил особенно путано. Один глаз, по его словам, ловил закатное солнце и горел, как ангел на шпиле. Второй не отражал ничего. Совсем ничего. «Как выключенный экран», — говорил Лёня, и лучше сравнения так и не нашёл.

Чуть позади высокого остановился второй: полный, круглолицый, румяный господин в бархатном пиджаке густого винного цвета, с массивными перстнями на трёх пальцах, в шёлковом шейном платке. В руке он держал надкусанный

круассан и кидал крошки чайкам, которые, надо сказать, кружили над ним с каким-то особенным, почти почтительным интересом.

— Прошу простить, — сказал высокий. Голос у него был негромкий, низкий, с акцентом, который нельзя было отнести ни к какой стране. Казалось, что он выговаривает слова так, как их выговаривали лет двести назад. — Я невольно услышал вашу беседу. Вы позволите присесть? Здесь удивительно жарко для апреля.

— Пожалуйста, — сказал Стрижёв, слегка подвинувшись, и внимательно оглядел незнакомца. Привычка оценивать людей по одежде подсказывала ему, что костюм стоит больше его машины. — А вы, простите...

— Иностранец, — охотно сказал высокий, опускаясь на скамью и ставя трость между колен. — Приехал на несколько дней. Консультант.

— По каким вопросам?

— По тем, на которые у вашей машины нет ответа, — сказал незнакомец и улыбнулся одним углом рта.

Лёня хихикнул. Чат, судя по бешеному бубнению в наушнике, оживился.

— Лёнь, с кем ты говоришь? — прочёл Лёня вслух первое попавшееся сообщение и удивлённо посмотрел на экран телефона.

На экране была скамейка. На скамейке сидели он сам и Стрижёв. Между ними и справа было пусто: гранит, решёт-

ка, кусок закатного неба. Незнакомца в кадре не было. Лёня посмотрел направо: незнакомец сидел, положив обе руки на серебряный ключ трости, и благодушно разглядывал Неву. Лёня снова посмотрел в экран: никого.

— Задержка, наверное, — пробормотал Лёня. — Или кадр съехал. Ребят, тут с нами... э-э... гость. Я поправлю.

Он потянулся поправить штатив, но в эту минуту полный господин в бархатном пиджаке шагнул вперёд и, прежде чем кто-то успел опомниться, оказался прямо перед камерой.

— Buonasera, дорогие друзья, buonasera! — пропел он, сияя. — Какая аудитория! Какие прекрасные лица! Я вижу их всех, всех до одного!

С полным господином в кадре происходило нечто странное. Встроенный в приложение фильтр красоты, который Лёня никогда не выключал, честно пытался сделать то, для чего был создан: разгладить кожу, сузить подбородок, увеличить глаза. Но лицо румяного господина словно сопротивлялось. Фильтр наваливался на него снова и снова, лицо подрагивало, расплывалось, собиралось заново, и с каждым разом всё меньше походило на лицо современного человека. Через полминуты на экране смотрел уже не румяный толстяк, а человек с напудренными щеками, с тонкими, по моде восемнадцатого века, бровями, в чём-то вроде кружевного жабо, будто портрет из музея вдруг подмигнул.

«Ахахaha что за фильтр», «где скачать?», «это нейронка генерит», «топ!!!» — понеслось в чате.

— Граф Феникс, — с поклоном представился толстяк, отступая от камеры и протягивая Стрижёву визитку. — Продюсирование. Скромный продюсерский центр, ничего особенного. Чудеса, явления, исцеления... всё в рамках закона, разумеется.

Стрижёв взял визитку. Она была плотная, кремовая, с золотым обрезом. На ней значилось: «Граф Феникс. Продюсерский центр „Феникс“. Устраиваем то, во что вы поверите». Ни телефона, ни адреса, ни сайта.

— Интересно, — сказал Стрижёв тоном человека, которому ничуть не интересно. — Граф, значит.

— Наследственный, — подтвердил толстяк и снова принялся кормить чаек.

— Так вы сказали, — обратился высокий к Стрижёву, будто никакого перерыва не было, — что человек полностью предсказуем?

— Сказал, — Стрижёв выпрямился. Он любил спорить с людьми, которые выглядели дорого. — И повторю. Человек — это набор привычек, страхов и желаний. Всё это можно описать, а то, что можно описать, можно посчитать.

— Чудесно, — сказал незнакомец. — И дьявол, вы сказали, это маркетинговый персонаж?

— Совершенно верно.

— А ваша машина того же мнения?

Стрижёв усмехнулся, достал телефон и, не глядя, нажал на значок совы.

— «Оракул», — сказал он, — существует ли дьявол?

Мелодичный голос мультипликационной актрисы ответил тотчас же:

— Вопрос о существовании дьявола относится к сфере религиозных убеждений и не может быть решён научными методами. В различных религиях дьявол понимается как олицетворение зла или как падший ангел. Согласно исследованию Оксфордского университета 2019 года, около тридцати процентов людей в мире верят в его существование. С научной точки зрения доказательств существования дьявола нет. Если хотите, я могу составить для вас подборку фильмов о дьяволе или рассказать, как изображали дьявола в живописи эпохи Возрождения!

Граф Феникс громко, от души расхохотался и поперхнулся круассаном.

— Оксфорд! — простонал он, утирая слёзы. — Тридцать процентов! Мессир, вы слышали? Две тысячи девятнадцатый год! Боже мой, какая точность!

— Слышал, — сказал высокий, которого толстяк назвал мессиром. — Скажите, — повернулся он к Стрижёву, — а такое исследование действительно было?

— Наверное, — пожал плечами Стрижёв. — Он же на что-то ссылается.

— Он ссылается на то, чего не было, — мягко сказал незнакомец. — Но заметьте, как уверенно. Я встречал многих лжецов, Аркадий Борисович. Я, можно сказать, знаток

этого ремесла. Но лжец всегда хоть немного волнуется. Ему есть что терять. А этот...

Он кивнул на телефон, и Стрижёву почему-то стало неприятно, что незнакомец знает его имя. Впрочем, он тут же сообразил: его лицо знал весь город, оно висело на рекламных щитах «Оракула» по всем кольцевым развязкам.

— Ошибки бывают, — сказал Стрижёв. — Мы их правим. Это вопрос времени.

— Конечно, — согласился незнакомец. — Всё на свете вопрос времени.

Помолчали. С реки тянуло холодком от льдин, и этот холодок, смешанный с жаром раскалённого гранита, создавал удивительное ощущение, будто город стоит одновременно в двух временах года. Мимо, вниз по течению, медленно проплывала большая ноздреватая льдина. На ней сидел чёрный кот. Огромный, лохматый, совершенно чёрный кот сидел на льдине посреди Невы, обернув хвост вокруг лап, и смотрел на набережную с выражением полного удовлетворения. Лёня вытаращил глаза и толкнул Стрижёва локтем.

— Аркадий Борисович, смотрите, кот!

— Где?

— Да вон же, на льдине!

Стрижёв посмотрел. Льдина была. Кота на ней не было. Был какой-то тёмный ком, то ли мусорный пакет, то ли кусок брезента.

— Пакет, — сказал Стрижёв.

— Был кот, — растерянно сказал Лёня и посмотрел на экран телефона. Камера смотрела в другую сторону.

— Сегодня, если не ошибаюсь, у вас праздник, — сказал незнакомец, словно ничего не случилось. — Вход в Иерусалим.

— Вербное, — кивнул Лёня, всё ещё косясь на реку. — У меня бабушка всегда ветки в церковь носила. Вербу.

— Да, — сказал незнакомец. — Я помню тот день. Пальмовые ветви, одежды на дороге, ослица. Все кричали, все радовались. А через пять дней те же самые люди кричали совсем другое. Удивительно быстро меняются люди, когда им показывают нужную картину. Тогда для этого нужна была толпа. Теперь, — он посмотрел на телефон на штативе, — теперь достаточно экрана.

Лёня захихикал и сказал в камеру:

— Ребята, у нас тут, кажется, ролевик. Или актёр. Ставим опрос: актёр или реально иностранец?

— Помните? — переспросил Стрижёв, прищурившись. — Вы сказали: помню.

— Сказал.

— Вы там были?

— Был, — спокойно ответил незнакомец. — Всю ту неделю. И ночь с четверга на пятницу тоже. Особенно её.

Стрижёв засмеялся. Смеялся он хорошо, раскатисто, как смеются люди, привыкшие, что их смех подхватывают.

— Ну конечно. Вы, значит, вечный. Как этот, как его...

Агасфер.

— Нет, — сказал незнакомец. — Агасфер — это другой. С ним я тоже знаком, но он, бедняга, всё ходит, а я иногда отдыхаю.

— Нормально, — сказал Лёня в камеру. — Нормальный такой сюжет.

В опросе «актёр или реально иностранец» вариант «актёр» набрал восемьдесят семь процентов. Остальные тринадцать выбрали вариант «нейронка», которого в опросе не было, но который зрители упрямо вписывали в комментарии.

— Знаете, что меня всегда удивляло в вашем городе? — продолжал незнакомец, не обращая внимания на смех. — Он носит имя одного человека, которого я видел в ту самую ночь. Рыбака. Его звали Симон, а Учитель называл его Кифа, то есть Камень. По-гречески Петрос. Вы назвали в его честь город, крепость, собор, вы поставили его в Риме ключарём у ворот рая, а между тем той ночью этот камень трижды отрёкся. Трижды, Аркадий Борисович. И прежде чем запел петух. Я стоял у того костра, грел руки. Холодная была ночь, не то что у вас сегодня.

Стрижёв перестал смеяться. Не потому, что поверил, а потому, что ему вдруг стало скучно. Он не любил, когда разговор уходил из-под его контроля.

— Слушайте, — сказал он, — это всё очень художественно, но давайте вернёмся к сути. Я утверждаю, что человек

предсказуем. Хотите пример?

— Очень хочу.

Стрижёв снова взял телефон.

— «Оракул», что я делаю сегодня вечером?

— Добрый вечер, Аркадий Борисович! — с готовностью отозвалась сова. — Согласно вашему календарю, в двадцать часов у вас ужин в ресторане «Гранд Палас» на Невском проспекте. В ноль часов сорок минут водитель заберёт вас для поездки в офис на Васильевском острове. В час тридцать запланировано совещание по ночному запуску новой версии «Оракула». Хотите, чтобы я напомнил вам за пятнадцать минут до выезда?

— Вот, — сказал Стрижёв, разводя руками. — Вот вам вся моя жизнь. Ужин, офис, совещание. Ни одного чуда. Всё расписано.

— Совещания не будет, — сказал незнакомец.

Он сказал это так просто и тихо, как говорят о погоде, и Лёня потом клялся, что именно в эту секунду у него по спине прошёл холод, несмотря на двадцать семь градусов.

— Это почему же? — поднял брови Стрижёв.

— Потому что в час ночи вы будете на Дворцовом мосту. Пешком. Машина ваша заглохнет на Дворцовой набережной, водитель будет звонить в сервис, а вы, человек нетерпеливый, решите пройти по мосту, тут ведь недалеко. Мост начнут разводить в час ноль шесть. На четыре минуты раньше расписания. И вы не дойдёте.

Наступила тишина. Чайки над графом Фениксом перестали кричать. В наушнике у Лёни на секунду замолчал даже чат.

— Не дойду куда? — спросил Стрижёв.

— До конца, — сказал незнакомец.

Аркадий Борисович посмотрел на него долгим тяжёлым взглядом, каким смотрел на подчинённых, когда те приносили плохие цифры. Потом опять поднёс телефон ко рту.

— «Оракул», во сколько сегодня разводят Дворцовый мост?

— Дворцовый мост разводится ежедневно в период навигации с одного часа десяти минут до двух часов пятидесяти минут, — без запинки ответила сова. — Навигация на Неве в этом году открывается двадцать пятого апреля, то есть сегодня. Рекомендую планировать поездки с учётом графика разводки мостов!

— Один час десять минут, — отдельно повторил Стрижёв. — Не один ноль шесть. График, утверждённый городом. Мосты, знаете ли, разводят не по желанию консультантов.

— Ваша машина знает расписание, — сказал незнакомец. — Она не знает людей. Мост разводит не город, Аркадий Борисович. Мост разводит женщина, диспетчер. Её зовут Зинаида Павловна, ей шестьдесят один год, она двадцать лет на этой работе и ни разу не ошиблась. Но сегодня ночью её телефон, который сам переводит часы и сам сверяется со спутником, ошибётся на четыре минуты. Небольшой сбой. Такие

бывают. Она посмотрит на экран, а не на старые часы над пультом, потому что давно уже смотрит только на экран. Как и все вы.

— Слушайте, — сказал Стрижёв, и голос его стал холодным, — вы мне что, угрожаете?

— Ни в коем случае, — удивился незнакомец. — Я вас предупреждаю. Это разные вещи. Угрожают те, кто может сделать. А я лишь знаю.

— Мессир никогда не угрожает, — вставил граф Феникс, отряхивая крошки с пальцев. — Мессир информирует. Как ваш «Оракул», только точнее, — и он снова хихикнул.

Стрижёв поднялся. Лицо его побагровело, и было непонятно, от жары или от злости.

— Значит, так, — сказал он. — Лёня, выключай. Я не собираюсь в прямом эфире выслушивать этот бред. Вы, — он повернулся к незнакомцу, — вы кто вообще? Документы у вас есть? Как вас зовут?

— Зовите меня профессором, — сказал незнакомец. — Документы есть. Но вы же всё равно поверите только тому, что скажет вам ваша сова.

— Я поверю полиции, — отрезал Стрижёв и действительно стал набирать номер, но то ли от волнения, то ли оттого, что сеть на набережной в этот час почему-то пропала, звонок не пошёл. На экране висело: «Нет подключения». Он попробовал ещё раз. Ещё. Профессор сидел и смотрел на него с вежливым сочувствием, как смотрят на ребёнка, который

никак не может завязать шнурок.

Лёня в растерянности переводил взгляд со Стрижёва на профессора и обратно. В трансляции, как ни странно, связь была отличная: чат летел, счётчик зрителей рос. Ещё десять минут назад на эфире было двенадцать тысяч человек, сейчас — сорок одна.

«Это постановка», — писали в чате. «Стрижёв пиарит новый Оракул». «Кто этот мужик, почему его не видно??». «Его видно, у тебя глюк». «Не видно!!!». «Дайте ссылку на графа, хочу такой фильтр».

— Профессор, — неожиданно для самого себя спросил Лёня, — а вы правда... ну... там были? В Иерусалиме?

Профессор повернулся к нему, и Лёне на мгновение показалось, что погасший глаз смотрит прямо в него, сквозь него, куда-то за затылок, туда, где сам Лёня никогда не бывал.

— Правда, молодой человек. Только вы ведь не поверите. Вы спросите у машины, она скажет вам, что меня нет, и вы успокоитесь. Так удобнее.

— Не, ну я... — Лёня смутился. — Мне вообще-то интересно.

— Вот это хорошо, — сказал профессор, и в голосе его в первый раз послышалось что-то похожее на теплоту. — Интерес — редкая вещь в ваше время. У вас всё есть: ответы, картинки, мнения. А интереса нет. Его заменили лентой.

Стрижёв тем временем отошёл на несколько шагов, к самому парапету, и там, повернувшись спиной, всё пытался до-

звониться. Ни один номер не набирался. Он сунул телефон в карман, обернулся и сказал Лёне через плечо, громко, на камеру:

— Леонид, я ухожу. Этот выпуск можешь не монтировать. Удали.

— Это прямой эфир, Аркадий Борисович, — беспомощно сказал Лёня. — Его уже... ну... все видели.

— Тогда скажешь, что это розыгрыш, — бросил Стрижёв. — Мой. Для запуска новой версии. Понял?

— Понял.

Стрижёв зашагал прочь вдоль решётки, в сторону Марсова поля, туда, где на набережной ждала его машина. Шёл он тяжело, с раздражением, чуть ссутулившись. Профессор смотрел ему вслед.

— Жаль, — сказал он негромко. — Интересный был человек. Он верил в свою машину так, как его прадед, вероятно, верил в святых. Только святые иногда отвечали.

— Мессир, — сказал граф Феникс, понизив голос, — мы ведь не будем?..

— Мы ничего не будем, граф, — ответил профессор. — В том-то и дело. Мы с вами здесь совершенно лишние. Всё сделают без нас. Телефон диспетчера, заглухший мотор, его собственное нетерпение. Раньше, чтобы погубить человека, требовался я. Теперь, — он развёл руками, — теперь требуется только плохое обновление.

Граф Феникс вздохнул так тяжело, что его бархатный пи-

джак заходил волнами.

— Это даже обидно, — сказал он.

— Это поучительно, — поправил профессор.

Лёня слушал их, и ему было одновременно смешно и страшно, и он никак не мог решить, что из этого сильнее. Так бывает, когда смотришь хороший ужастик ночью один в квартире: умом понимаешь, что это кино, а пальцы всё равно холодные.

— Слушайте, — сказал он наконец, решившись. — А вы можете рассказать? Ну, про ту ночь? Про Петра этого. Про то, как он отрёкся. Мне правда интересно. И ребятам, — он кивнул на экран, — ребятам тоже.

В чате, словно в подтверждение, замелькало: «Да!!», «Пусть расскажет», «Лёня, крути дальше», «Блин, у меня мурашки». Счётчик зрителей показал пятьдесят шесть тысяч.

Профессор помолчал. Солнце наконец коснулось шпиля Петропавловского собора, и ангел на его верхушке загорелся последним, самым ярким светом, а потом стал медленно гаснуть. По Неве шли льдины, одна за другой, серые, тяжёлые, и вода между ними была красной от заката.

— Хорошо, — сказал профессор. — Я расскажу. Только не так, как пишут в ваших статьях и как отвечают ваши машины. Я расскажу так, как было. Вы ведь знаете, что он сначала взялся за меч? Нет? Никто теперь этого не помнит. Все помнят петуха. А начиналось всё с меча, в саду, где давили

масло из олив. Была ночь с четверга на пятницу, и луна стояла полная, весенняя, такая же, какая вскоре взойдёт и над вашим городом...

Граф Феникс бросил чайкам последнюю крошку, сел на скамейку по другую сторону от Лёни, сложил на животе руки в перстнях и закрыл глаза, словно приготовился слушать давно знакомую, но любимую сказку.

А профессор заговорил.

Глава 2. Меч Симона

Он был рыбаком, и руки у него были рыбацкие: широкие, жёсткие, в старых порезах от лески и сетей, с ногтями, под которыми навсегда поселилась тёмная полоска. Такими руками хорошо тянуть невод, чинить лодку, разламывать хлеб. Меч в таких руках выглядит чужим, как выглядит чужой любая вещь, которую человек взял не по своему ремеслу.

Меч, однако, у него был. Короткий, тяжёлый, с потёртой деревянной рукоятью, купленный по случаю у какого-то галилейского торговца, который, верно, сам не помнил, откуда этот меч у него взялся. Мечей было два на всех. Об этом сказали за ужином, и Учитель, услышав, только кивнул: довольно. Симон тогда не понял, что значит это «довольно», довольно ли двух мечей, или довольно вообще говорить о мечах. Он многого не понимал в тот вечер. Он вообще, если быть честным, понимал Учителя хуже других, хотя любил, быть может, сильнее всех. Так бывает.

Ужин был в верхней комнате большого дома в Иерусалиме, в праздничный вечер, когда весь город пах жареным мясом, дымом и горькими травами. Они возлежали за низким столом, тринадцать человек, и Учитель говорил странные вещи, от которых у Симона холодело в груди. Говорил, что один из них предаст. Говорил, что хлеб — это его тело. Говорил, что уходит туда, куда они пока не могут пойти.

Но прежде, ещё до хлеба и чаши, случилось то, что Симон потом вспоминал чаще всего. Чаще, чем меч. Чаще, чем петуха.

Они пришли в верхнюю комнату пыльные. Весь день они ходили по городу, по рынкам, по дворам Храма, через толпы паломников, пришедших на праздник со всех концов земли. Ноги у них были серыми от пыли, сандалии стёрты, ступни в ссадинах. В богатом доме у дверей стоял бы раб с кувшином и тазом, чтобы омыть гостям ноги. Так полагалось. Так делали всегда. Это была самая низкая работа в доме. Её делал последний из слуг, тот, кого не жалко, кого не стыдно поставить на колени перед чужими грязными ступнями.

Раба у дверей не было. Комнату им дал на вечер знакомый Учителя, человек небогатый, и слуг на всех у него не хватало. У входа стоял кувшин с водой, рядом таз, на гвозде полотенце. И всё.

И никто не взял кувшин.

Симон помнил это. Он посмотрел на кувшин, когда входил. Подумал: кто-нибудь возьмёт. Младший. Иоанн, например. Или Фаддей. Или Матфей, бывший мытарь, ему не привыкать к презрению. Он подумал так и прошёл мимо. И каждый, кто входил после него, тоже посмотрел на кувшин и тоже прошёл мимо. Двенадцать человек. Двенадцать раз. Они возлегли за столом с грязными ногами и сделали вид, что так и надо.

А по дороге сюда они спорили. Симон помнил и это, и

от этого воспоминания у него потом всю жизнь горели уши. Они спорили, кто из них больше. Кто будет сидеть ближе к Учителю, когда Он воцарится. Кто будет по правую руку, кто по левую. Иаков и Иоанн просили для себя. Остальные злились. Симон злился громче всех, потому что считал, что первое место по праву его. Он же Камень. Ему дали ключи. Он первым сказал: Ты Христос. О чём тут спорить?

Они возлегли и замолчали, всё ещё обиженные друг на друга.

И тогда Учитель встал.

Он встал из-за стола посреди ужина. Снял с себя верхнюю одежду. Аккуратно сложил её. Взял с гвоздя полотенце. Подпоясался им, как подпоясываются рабы. Налил воды из кувшина в таз. И опустился на колени у ног Варфоломея, который лежал ближе всех к двери.

В комнате стало так тихо, что слышно было, как вода плещется в тазу.

Учитель взял ногу Варфоломея в свои руки. Грязную, пыльную, с потрескавшейся пяткой. Омыл. Медленно. Тщательно. Вытер полотенцем. Взял вторую. Омыл. Вытер. Переставил таз. Опустился у ног Фомы.

Никто не шевелился. Никто не говорил. Симон видел, как Фома лежит, вцепившись пальцами в край стола, с красным лицом, и не смеет поднять глаз. Как Матфей отвернулся к стене. Как Иуда смотрит на Учителя странным, тяжёлым, непонятным взглядом. Иуда тоже позволил омыть себе но-

ги. Учитель омыл и его. Так же медленно. Так же тщательно. Так же вытер. Будто ничего не знал. А Он знал. Симон понял это потом.

Учитель двигался вдоль стола. От одного к другому. На коленях. С тазом. С полотенцем на поясе. Вода в тазу стала серой, потом бурой. Он вставал, выливал её за порог, наливал новую и снова опускался на колени.

И дошёл до Симона.

Симон отдёрнул ноги. Резко. Будто его обожгли. Сел на ложе, поджав ступни под себя.

— Господи! — сказал он, и голос у него сорвался. — Тебе ли мыть мои ноги?

Учитель поднял на него глаза. Снизу. С колен. Симон никогда не видел Его снизу вверх. Всегда наоборот. Это было невыносимо. Будто мир перевернулся.

— Что Я делаю, теперь ты не знаешь, — сказал Учитель спокойно. — А уразумеешь после.

— Не умоешь ног моих вовек! — сказал Симон.

Он сказал это от любви. Он был уверен, что от любви. Он не мог позволить, чтобы Учитель стоял перед ним на коленях, как раб. Это было неправильно. Это было против всего, что он знал. Мир держался на том, что старший выше младшего, господин выше слуги, учитель выше ученика. Если Учитель встанет на колени перед рыбаком, мир рухнет.

Теперь, через много лет, Симон понимал, что говорил не от любви. Вернее, не только от любви. Было там и другое.

Гордость. Он не хотел, чтобы ему служили. Потому что тогда пришлось бы служить самому. Пока Учитель выше, можно сидеть у Его ног и слушать. А если Учитель встанет на колени, то куда деваться ученику? Только на колени тоже. С тазом. С полотенцем. Перед другими. Это было страшнее меча.

— Если не умою тебя, — сказал Учитель, — не имеешь части со Мною.

Симон замер. Потом вдруг протянул к Нему не только ноги. Руки тоже. И голову наклонил.

— Господи! Не только ноги мои, но и руки, и голову!

Кто-то за столом нервно засмеялся. Учитель тоже улыбнулся. Устало. Как улыбаются горячему ребёнку, который из одной крайности кидается в другую.

— Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, — сказал Он.

И омыл ему ноги.

Симон сидел и чувствовал на своих ступнях Его руки. Тёплые. Твёрдые. Рабочие. Руки плотника. С мозолями от рубанка, которые не сошли за три года странствий. Эти руки держали его пятку, мыли пальцы, вытирали полотенцем. А Симон смотрел на Его склонённую голову, на тёмные волосы, на шею, и ему хотелось плакать, и он не понимал почему.

Когда Учитель омыл ноги всем, Он снова надел одежду, снова возлёг за стол и обвёл их взглядом.

— Знаете ли, что Я сделал вам? — спросил Он. — Вы на-

зывает Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.

Никто не ответил. Таз стоял у двери. В нём была бурая вода.

Симон потом, через много лет, в Антиохии, в Коринфе, в Риме, много раз рассказывал об этом вечере. И каждый раз, рассказывая, видел, как у слушателей светлеют лица. Им нравилось. Бог на коленях с тазом. Это было красиво. Это было трогательно. И каждый раз после проповеди слушатели расходились по домам, и в каждом доме у двери стоял кувшин, и кто-то брал его. Не они. Жена. Мать. Служанка. Дочь. Кто-то, кого никто не видел.

А в ту ночь Симон смотрел на таз у двери и вдруг понял, что Учитель сделал то, чего не захотел сделать ни один из них. Он взял кувшин, мимо которого они все прошли. Не потому, что не видели. Видели. Каждый посмотрел. И каждый решил, что это не для него.

Это было за час до того, как Симон сказал: с Тобой я готов и в темницу, и на смерть.

На смерть он был готов. А на колени с тазом нет.

Симон тогда приподнялся на локте и сказал громко, громче, чем следовало, так что даже Иоанн, лежавший у самой груди Учителя, обернулся:

— Господи, с Тобой я готов и в темницу, и на смерть.

Он сказал это искренне. Он был уверен в этом так же твёрдо, как в том, что солнце встаёт над озером. Он был рыбак, он видел бури, он не боялся воды, которая убивает, так неужели он побоится людей?

И Учитель посмотрел на него. Симон потом помнил этот взгляд всю жизнь: в нём не было упрёка, не было насмешки, а было что-то такое, от чего хотелось отвернуться, потому что так смотрят на человека, которого очень жалеют и которому ничем не могут помочь.

— Говорю тебе, Пётр, — сказал Учитель тихо, — не пропёт сегодня петух, как ты трижды отречёшься, что не знаешь Меня.

Симон покраснел до корней волос. Он хотел возразить, крикнуть, что это невозможно, что пусть все, пусть хоть все остальные, но он никогда. Он даже открыл рот. Но Учитель уже отвернулся и протягивал чашу Иакову, и момент прошёл. Остался только жар в лице и обида, детская, жгучая. Он, Кифа, Камень, отречётся? Он, которому Учитель сам дал это имя?

Он молчал до конца ужина и, когда пели хвалебный псалом, пел громче всех.

Потом они вышли.

Ночь была светлая. Над городом стояла полная пасхальная луна, огромная, белая, такая яркая, что на каменных ступенях, спускавшихся к долине, лежали резкие чёрные тени, и каждую выбоину было видно, как днём. В воздухе ещё дер-

жалось дневное тепло, но с гор уже тянуло холодом, и Симон, кутаясь в плащ, подумал, что ночью будет зябко, как всегда весной в этих местах. Они спустились в долину Кедрона, перешли по камням через ручей, который в это время года ещё бежал, звенел и поблёскивал в лунном свете, и стали подниматься по склону Масличной горы.

Там, на склоне, был сад. Масличный сад с давилейней, где осенью отжимали масло из олив. Место называлось Гефсимания, что значит масличный пресс. Учитель часто приходил сюда по вечерам, когда они бывали в Иерусалиме, и все это знали. Все, включая того, кто встал из-за стола раньше других и ушёл в ночь, не сказав ни слова.

Симон заметил его уход. Иуда из Кериота, их казначей, человек аккуратный, с тонкими пальцами, который всегда помнил, сколько осталось денег в ящике и кому сколько дали. Он вышел из комнаты, когда Учитель подал ему кусок хлеба, обмакнув его в блюдо, и сказал что-то, чего Симон не расслышал. Симон тогда подумал, что Иуду послали купить что-нибудь к празднику или раздать милостыню нищим. Так подумали все. Никто ничего не понял. Они вообще почти никогда ничего не понимали вовремя, а понимали только потом, когда было уже поздно.

В саду пахло нагретой за день корой, сырой землёй и чем-то горьковатым, лекарственным, отчего у Симона защипало в носу. Оливы стояли старые, корявые, с перекрученными стволами, похожие на застывших в немыслимых позах ста-

риков. Лунный свет пробивался сквозь их серебристую листву и ложился на траву рваными пятнами.

— Посидите здесь, — сказал Учитель ученикам у входа в сад. — А Я пойду помолюсь.

И взял с собой троих: Иакова, Иоанна и его, Симона. Они прошли вглубь сада, между стволами, туда, где земля поднималась небольшим уступом и откуда сквозь деревья был виден спящий город с белыми стенами и громадой Храма, освещённой луной.

Там Учитель остановился, и Симон увидел, что с Ним происходит что-то страшное. Лицо Его, всегда спокойное, всегда будто немного обращённое внутрь, исказилось, как у человека, на которого вдруг навалилась непомерная тяжесть. Он дышал тяжело, прерывисто.

— Душа Моя скорбит смертельно, — сказал Он. — Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной.

И отошёл от них на бросок камня, и упал лицом на землю.

Симон сел, прислонившись спиной к шершавому стволу. Иаков и Иоанн устроились рядом. Он слышал, как Учитель молится, слышал обрывки слов, произнесённых с такой мучкой, что ему хотелось зажать уши. «Отче... если возможно... да минует Меня...». Слова падали в ночь, как камни в колодезь, и Симону казалось, что он слышит, как они долетают до дна.

Он хотел бодрствовать. Он правда хотел. Он смотрел на луну, на чёрные силуэты олив, на спину Учителя, распро-

стёртого на земле, и говорил себе: не спать, не спать, Камень, ты обещал. Но день был длинный, вино за ужином было сладким и крепким, а он с рассвета был на ногах. Веки его наливались тяжестью. Лунный свет расплывался. Шёпот молитвы становился всё тише, всё дальше, сливался с шелестом листвы, с журчанием Кедрона внизу, с далёким лаем собак в городе...

— Симон, — сказал над ним голос. — Ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час?

Симон вскинулся. Учитель стоял над ними, и лицо Его было мокрым, будто Он умывался, но воды поблизости не было, и Симон с ужасом понял, что это пот. Тёмный, тяжёлый, как кровь, он стекал по Его лбу и вискам.

— Бодрствуйте и молитесь, — сказал Учитель, — чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна.

Он сказал это без гнева. Устало. И снова отошёл.

Симон сидел, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. Стыд жёг ему лицо. Он поклялся себе, что больше не уснёт. Он стал считать оливы, потом звёзды, потом удары собственного сердца. Он щипал себя за руку. Он повторял про себя псалмы, которые знал с детства.

И уснул снова.

И Учитель снова пришёл, и снова нашёл их спящими, и на этот раз ничего не сказал, только постоял над ними, и Симон, проснувшись, не смог поднять на Него глаз. Ему нечего было ответить. Совсем нечего. Он, готовый идти на смерть,

не смог выстоять даже против сна.

Трижды Учитель уходил молиться. Трижды возвращался. Трижды находил их спящими.

Трижды, думал потом Симон, вспоминая эту ночь. Всё в ту ночь было трижды. Как будто кто-то нарочно отсчитывал.

В третий раз Учитель подошёл к ним и сказал, уже без всякой тоски в голосе, совершенно спокойно, как говорят о деле, которое решено:

— Вы всё ещё спите и поживаете? Кончено. Пришёл час. Вставайте, пойдём. Вот приблизился предающий Меня.

Симон вскочил на ноги и тогда увидел огни.

Внизу, по склону, поднимаясь от Кедрона, двигалась цепочка факелов. Много факелов. Красные пятна плясали между стволами олив, то пропадая, то появляясь вновь, и вместе с огнями поднимался шум: топот множества ног, звяканье железа, приглушённые голоса, чей-то кашель. Собаки в городе залаяли громче.

Факелы были не нужны. Луна светила так ярко, что можно было разглядеть каждую травинку. Но они шли с факелами, и Симон потом, много лет спустя, в Риме, думал об этом: зачем им был нужен огонь в такую светлую ночь? Наверное, затем, что люди, идущие делать тёмное дело, всегда приносят с собой много света. Им кажется, что так они будут правы.

Толпа вышла на поляну. Здесь были храмовые стражники с короткими мечами и дубинами, слуги первосвященника,

какие-то люди без оружия, но с палками, а позади, в стороне, Симону почудился блеск римских шлемов. А впереди всех шёл человек, которого Симон узнал бы из тысячи, потому что три года ел с ним из одного блюда.

Иуда подошёл прямо к Учителю. Подошёл быстро, деловито, будто боялся, что передумает, если замедлит шаг.

— Радуйся, Равви! — сказал он громко, для тех, кто стоял позади. И поцеловал Его.

Таков был условный знак. Симон узнал об этом позже. Тот, кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. Поцелуй вместо указующего пальца. Знак любви, использованный как пароль.

— Друг, — сказал Учитель Иуде, и это слово Симон тоже помнил всю жизнь, потому что в нём не было ни капли иронии. — Друг, для чего ты пришёл? Целованием ли предаёшь Сына Человеческого?

Иуда отступил, и лицо его в свете факелов было белым, как стены Храма.

Стражники бросились вперёд.

И тогда Симон, Кифа, Камень, не думая, не рассуждая, не помня себя, выхватил из-под плаща меч.

Он потом много раз пытался понять, что двигало им в ту минуту. Храбрость? Нет, не храбрость. Храбрость рассуждает, а он не рассуждал. Любовь? Да, конечно, любовь, но не только она. Было там и другое: обида, стыд за трижды проспанную молитву, желание доказать, что он не такой, как

сказал Учитель за ужином, что он не отречётся, что вот он, вот его меч, вот его рука. Он хотел быть правым. Он хотел, чтобы слова Учителя о петухе оказались ошибкой. И ради этого готов был рубить.

Первым под руку ему попался не стражник, а слуга. Невысокий человек в простой одежде, с факелом в руке, который стоял ближе всех и, кажется, сам не очень понимал, зачем он здесь. Его звали Малх. Он служил первосвященнику, и послали его, вероятно, просто чтобы светить. Он даже не был вооружён.

Меч Симона опустился, неловко, наискось, как опускается весло, когда гребец в темноте промахивается мимо волны. Удар пришёлся не по голове, куда он целил, а скользнул сбоку. Малх закричал, выронил факел и схватился за голову, и между его пальцами потекла кровь, чёрная в лунном свете. На траве, у самых ног Симона, лежало что-то маленькое и белое.

Ухо. Правое ухо раба первосвященника.

Наступила тишина. Такая тишина, какая бывает в лодке перед тем, как на неё обрушится шквал. Стражники замерли. Факелы потрескивали. Малх стонал, скорчившись, и раскачивался из стороны в сторону.

Симон стоял с мечом в руке и смотрел на то, что сделал. Меч оказался неожиданно тяжёлым. Рука дрожала.

— Оставьте, довольно, — сказал Учитель.

Он сказал это не стражникам, а ему, Симону. Тем же то-

ном, каким за ужином сказал о мече. Довольно.

— Вложи меч в ножны, — сказал Он. — Все, взявшие меч, мечом погибнут. Или ты думаешь, что Я не могу теперь умо-
лить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели две-
надцать легионов ангелов? Как же сбудутся Писания? Чашу,
которую дал Мне Отец, неужели Мне не пить её?

И, сделав шаг к Малху, который отшатнулся в ужасе, Учи-
тель наклонился, поднял с травы то маленькое белое и кос-
нулся его головы.

Симон не видел, что именно произошло. Он видел только,
что Малх вдруг перестал стонать, отнял от головы окровав-
ленные пальцы, недоверчиво ощупал себя и поднял на Учи-
теля глаза. В этих глазах был не страх, нет. В них было что-
то, чего Симон не умел назвать. Изумление, может быть. Или
стыд.

Ухо было на месте. Целое, только в крови.

Учитель исцелил того, кто пришёл Его взять. Последнее
чудо, сотворённое Им свободными руками, было сделано
для врага. Симон потом, в Риме, рассказывал это молодым
ученикам, и молодые ученики всегда удивлялись. А он объ-
яснял им: вы не поняли, Он исправлял не ухо раба. Он ис-
правлял мою ошибку. Мой меч. Он подчищал за мной, как
подчищают за ребёнком.

Тогда, в саду, Симон этого не понимал. Тогда он стоял с
бесполезным мечом в руке и чувствовал, как всё, во что он
верил, рушится под ногами. Если Учитель не хочет, чтобы

его защищали, если Он сам идёт к ним в руки, то что же тогда? Зачем они шли за Ним три года? Зачем бросили лодки и сети? Где царство, которое Он обещал?

Стражники опомнились. Они схватили Учителя, грубо, торопливо, будто наверстывая упущенное от испуга время. Заломили руки за спину, стали вязать верёвкой. Он не сопротивлялся.

— Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня, — сказал Он им. — Каждый день сидел Я с вами, уча в Храме, и вы не брали Меня. Но теперь ваше время и власть тьмы.

Власть тьмы.

Ученики побежали.

Первым, кажется, побегал Фома. Потом Андрей, брат Симона, потом остальные. Они бежали между оливами, спотыкаясь о корни, падая, вскакивая, не оглядываясь. Какой-то юноша, совсем мальчик, который, видно, прибежал на шум из соседнего дома, не успев одеться, в одном покрывале, накинутом на голое тело, тоже бросился бежать. Стражник ухватил его за покрывало, но юноша вывернулся, оставил покрывало в руках стражника и убежал нагой, белея в лунном свете. Стражники захохотали.

Симон тоже побегал.

Он не помнил, как выронил меч. Помнил только, что бежал, задыхаясь, что ветви хлестали его по лицу, что под ногами хрустели прошлогодние листья, что сердце колотилось

где-то в горле. Он бежал, как не бегал никогда в жизни, даже в детстве, когда за ними с братом гнался хозяин виноградника. И единственная мысль, которая билась в голове, была не о Учителе, не о Малхе, не о мече. Мысль была простая и постыдная: только бы не меня. Только бы не меня.

Он остановился только у самого Кедрона, внизу, у ручья. Упал на колени на мокрые камни и долго стоял так, хрипло дыша, глядя на воду, в которой дрожала и расплывалась белая луна.

Сзади, на склоне, мелькали факелы. Цепочка огней медленно спускалась к ручью. Они вели Его. Симон видел, как огни переходят через Кедрон, совсем рядом, в двух десятках шагов от него, и он вжался в камни, прячась в тени, и слышал, как шлёпают по воде сандалии, как звякает железо, как кто-то ругается вполголоса. Он не видел Учителя в толпе. Он и не хотел Его видеть. Он боялся, что если увидит, то Учитель тоже увидит его. Здесь. Прячущегося.

Огни перешли ручей и стали подниматься к городу, к воротам, к дому первосвященника.

И тогда Симон встал.

Он сам не знал, зачем встал. Ведь можно было остаться здесь, у воды, дожидаться утра, уйти потом в Вифанию, к друзьям, или назад, в Галилею, к лодкам и сетям, к жене, к прежней жизни, где не было ни мечей, ни факелов, ни этого страшного взгляда за ужином. Никто бы его не осудил. Все разбежались, все, и он ничем не хуже других.

Но он встал. Отряхнул колени. И пошёл за огнями, поодаль, держась в тени стен, крадучись, как вор.

Он шёл, потому что любил. И он шёл, потому что хотел доказать, что за ужином Учитель ошибся. Пусть другие бегут, а он пойдёт до конца. Он посмотрит, чем всё кончится. Он будет рядом.

Он не знал, что идёт как раз туда, где всё и должно было сбыться. Что это и есть та дорога, о которой говорил Учитель. Что каждый его шаг вслед за огнями приближает его не к подвигу, а к костру во дворе первосвященника, к любопытной служанке, к трём вопросам и к петуху, который уже проснулся где-то на соседнем дворе и топтался на насесте, ожидая своего часа.

Луна стояла над Иерусалимом, полная, равнодушная, весенняя. Ночь с четверга на пятницу только начиналась.

И среди старых олив в опустевшем саду, там, где на траве ещё темнела кровь Малха и лежал брошенный короткий меч, стоял человек, которого никто не позвал. Высокий, в тёмном плаще, с тростью в руке. Он смотрел вслед уходящим огням. Потом наклонился, поднял меч Симона, повертел его в руках, внимательно осмотрел лезвие, словно оценивая работу, и аккуратно положил обратно на траву.

— Начало, — сказал он сам себе. — Всегда начинается с меча.

И неторопливо пошёл вниз, к Кедрону, следом за рыбаком.

А Малх в ту ночь вернулся домой под утро.

Он жил в нижнем городе, у Навозных ворот, в маленьком доме, прилепленном к городской стене, где пахло дымом от горшечных печей и нечистотами, которые свозили за стену. Он был рабом первосвященника с детства. Его продали в дом Каиафы, когда ему было восемь лет, за долги отца. Ему было теперь тридцать с лишним. У него была жена, Шифра, тоже рабыня, из кухни. И двое детей. Им разрешили жить отдельно, у стены, потому что Малх служил хорошо и потому что Каиафа был расчётлив: женатый раб не бежит.

Он вошёл в дом, когда небо над Масличной горой уже серело. Шифра не спала. Она всегда не спала, когда его посылали ночью. Она сидела у погасшего очага и ждала. Когда он вошёл, она встала, и он увидел, как её взгляд сразу упал на его одежду. На плечо. На ворот рубахи.

Ворот был в крови. Вся левая сторона. Засохшая, тёмная, твёрдая, как кора.

Шифра закричала. Тихо. Зажав рот ладонью, чтобы не разбудить детей.

— Ничего, — сказал Малх. — Ничего. Это не моя.

Он сказал это и сам понял, что лжёт. Это была его кровь. Он помнил удар. Помнил боль. Помнил, как схватился за голову и ладонь стала мокрой и горячей. Помнил, как что-то упало в траву. Помнил, как лежал на земле, и стражники топтались вокруг, и никто не нагнулся к нему. Никто. Ни один из своих.

А потом нагнулся Тот, Кого пришли брать.

Малх сел на земляной пол у очага. Шифра опустилась рядом, взяла светильник, поднесла к его голове. Отвела волосы. Посмотрела.

Ухо было на месте. Целое. Розовое, чистое, как у младенца. Только по самому краю, там, где оно соединялось с головой, тянулась тонкая белая полоска. Как шов. Как нитка.

Шифра долго смотрела на это ухо. Потом осторожно, кончиками пальцев, коснулась его.

— Тёплое, — сказала она.

— Тёплое, — согласился Малх.

Он рассказал ей всё. Сад. Факелы. Поцелуй. Рыбака с мечом. Удар. Траву. Руку, которая подняла его ухо из травы и приложила к голове. Тихо. Бережно. Как прикладывают повязку ребёнку. Взгляд. Слова: довольно, оставьте.

— Он меня не знал, — сказал Малх. — Понимаешь, Шифра? Он меня никогда не видел. Я пришёл его брать. Я держал факел, чтобы им было светло его вязать. А Он... Он нагнулся. Ко мне. К рабу. Среди всех. Никто из них, из наших, не нагнулся. Двадцать пять лет я служу этому дому. Ни один человек в этом доме ни разу не нагнулся ко мне. А Он нагнулся.

Шифра молчала. Держала руку на его новом ухе.

Утром Малх пошёл на службу. Как обычно. Нёс воду. Подавал гостям. Стоял у дверей. Во дворе первосвященника былолюдно и шумно, все говорили о ночном деле, о суде, о

Пилате. Малх ходил между ними и молчал. Он слышал всё. Он вдруг понял, что слышит иначе.

Раньше он слышал то, что слышат все слуги. Приказы. «Поддай». «Принеси». «Убери». «Пошёл вон». Слуга слышит только то, что обращено к нему, и то, что может ему угрожать. Остальное шум. Как ветер.

А теперь он слышал другое. Он слышал, как служанка у ворот, та самая, что спрашивала ночью рыбака, плачет за углом, потому что ей стыдно, что она его выдала. Он слышал, как старый привратник шепчет молитву, тихо, одними губами, одну и ту же, без конца. Он слышал, как на кухне Шифра поёт детям колыбельную, которую он раньше не замечал. Он слышал, как стонет в подвале вор, которого держали для суда. Он слышал рабов. Женщин. Детей. Нищих у ворот. Всех тех, чьи голоса не слышит никто.

Новое ухо слышало тех, кого не слышат.

Он не понимал, дар это или наказание. Это было тяжело. Очень тяжело. Мир вдруг стал громким. Невыносимо громким. В нём было столько голосов, столько плача, столько тихих просьб, которых он раньше не слышал. Ночами он не мог спать. Лежал у стены и слушал город. Весь Иерусалим. Шёпот, вздохи, плач, молитвы. Шифра просыпалась и клала руку ему на ухо. И тогда становилось тише.

А в ту ночь, во дворе, у костра, когда рыбак отрекался, Малх стоял в тени колоннады и слышал. Не слова рыбака. Слова слышали все. Он слышал то, что было под словами.

Он слышал, как внутри у рыбака что-то кричит. Беззвучно. Страшно. Как кричит человек, падающий в колодезь. И когда родственник Малха, сутулый, с бельмом на глазу, подошёл к рыбаку и сказал: не тебя ли я видел в саду с Ним? — Малх мог сказать: да. Это он. Он мне ухо отсёк. Вот шрам. Смотрите.

Он не сказал.

Он слышал, как кричит внутри у рыбака. Он не мог добавить к этому крику ни слова.

Много лет спустя, уже стариком, уже свободным (Каиафу сместили, дом распродали, рабов пустили), Малх ушёл из Иерусалима. Шифра умерла. Дети выросли. Он пошёл на запад. Сам не зная зачем. Его вело ухо. Оно слышало что-то далеко-далеко, за морем. Чей-то голос. Знакомый.

Он дошёл до Рима. Пешком и на кораблях. Два года. В Риме, в огромном, шумном, невыносимо громком городе, где новое ухо его чуть не свело с ума, он нашёл тех, кого искал. Они собирались ночами в подвалах. Пели. Тихо. Ломали хлеб. Он пришёл к ним, седой, с палкой, чужой.

И увидел у стены рыбака.

Старого. Седого. Сутулого. С большими узловатыми руками. Рыбак говорил людям. Про озеро. Про хлеб. Про костёр на берегу. Про то, как трижды спросили: любишь ли? Он говорил просто, косноязычно, с галилейским выговором, который не вытравили тридцать лет дорог.

Малх стоял в задних рядах и слушал. Новым ухом.

Под словами рыбака больше не было крика. Была тишина. Тёплая. Как у очага.

Когда все разошлись, Малх подошёл к нему. Рыбак поднял глаза. Посмотрел. Не узнал. Тридцать лет. Седина. Морщины.

Малх молча отвёл волосы с левой стороны головы. Показал ухо. И тонкую белую полоску. Как шов. Как нитку.

Рыбак смотрел на это ухо долго. Очень долго.

Потом встал. Тяжело. Опираясь на стену. И опустился перед Малхом на колени. Старик перед стариком. На каменный пол римского подвала.

— Прости, — сказал Пётр.

Малх положил руку ему на голову. На седые волосы.

— Он уже простил, — сказал Малх. — Тогда. В саду. Он приставил мне ухо, чтобы я услышал. Я услышал. Я тридцать лет слышу. Я слышал, как ты кричал у костра. Без голоса. Я слышал. Я тогда промолчал. Ради этого крика.

Пётр плакал.

— Встань, рыбак, — сказал Малх. — Встань. Мы оба старые. Нам вредно на камнях. Давай лучше сядем. Расскажи мне про Него. Я видел Его только одну минуту. В саду. При факелах. Расскажи, какой Он был. Всё. Я послушаю. У меня хорошее ухо.

И они сели. И рыбак рассказывал до утра. А бывший раб первосвященника слушал. Ухом, которое приставили в Гефсиманском саду.

Ни в одном Евангелии этого нет. Но где-то, в каком-то городе, в какой-то тихий час, когда кто-то, наконец, нагибается к тому, кого никто не слышит, это случается снова.

Глава 3. Четыре минуты

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.